

**Л**ев Николаевич понимал, что, как и все люди, не будет жить вечно. Но это знание никогда не тяготило его. Оно носило скорее абстрактный характер. В детстве жизнь казалась огромной и неисчерпаемой. Небольшой дворик возле дома представлялся целой вселенной. Когда-то окна его квартиры окружал небольшой палисадник, огороженный чугунной оградой столетней давности. Лев Николаевич не представлял своего раннего детства без этой старинной ограды. Но потом на ограду упал огромный старый тополь и погнул старинные остроконечные брусья. Сосед Левы, отставной майор-особист, хромой сталинист и ревнитель порядка, тщетно пытался выпрямить ограду. Ничего не выходило. И тогда общим собранием жильцов решено было ограду демонтировать.

Увидев пустое, ничем не огороженное пространство палисадника, пришедший из школы Лева был полностью обескуражен, поскольку считал эту невысокую ограду вечной и незыблемой. Но ничто не бывает вечным. Ничто не бывает вечным, и мы все это понимаем. Но это понимание коренится в глубинах нашего звериного подсознания, совершенно не мешая воспринимать предметы вечными, а сам факт своего существования закономерным, неизбежным и тоже почти вечным.

А между тем, появление нашего героя на Свет Божий было не менее случайным, чем появление какого-либо другого человека. Отец, Николай Евграфович, происходил из крестьян Тульской губернии. Умный, толковый и физически крепкий парень в дальнейшем выучился на врача, работал хирургом, главным врачом больницы, начальником отдела здравоохранения облисполкома. Мама, Надежда Николаевна, родом была из польской шляхты. Ее предки оказали особенное участие режиму «жандарма Европы» Николая Первого, с восторгом восприняли его успешные и решительные действия, так или иначе связанные с подморозкой России, безоговорочно отказались от своих соотечественников, примкнувших к безумному польскому мятежу. Отказались они и от католичества в пользу всевластия византийской церкви, заслужив тем самым презрение и ненависть своих соотечественников, особенно тех, кому пришлось после известных событий коротать свой век в Сибири. Среди материнской родни было много врачей и профессиональных военных.

Правда ли, что революция в России произошла только из-за того, что подвыпивший караул пропустил Ульянова-Ленина, загримированного под простачка-рабочего, в Смольный? Возможно, что и так. Но это вопрос спорный.

Но бесспорно то, что, если бы не эта революция, родители Льва Николаевича никогда бы не встретились. Слишком уж к разным социальным пластам они принадлежали.

Сам Лев Николаевич тоже избрал медицину своей профессией, поработал немного в поликлинике, а потом сумел, благодаря отцовским связям, поступить в аспирантуру на кафедру биохимии. Так и прослужил всю жизнь преподавателем. Кто-то из умных людей сказал, что история любой человеческой жизни есть история поражения. Лев Николаевич любил цитировать это изречение и понимал, что и к нему оно тоже относится. Но так уж человек создан — он может и городской автобус, неожиданно захлопнувший перед ним двери, рассматривать как поражение, и любую ссадину на руке — как боевое ранение, а вмятину на автомобиле — как невероятное личное горе. А как только сталкивается он с реальной неприятностью, сразу же окатывает его струей ледяной воды с ног до головы невероятная, нечеловеческая трезвость. И сразу все его старые беды оказываются такими вот царапинками.

Лев Николаевич никогда не был бойким, бодрым человеком. Но и больным, по большому счету, он тоже не был. И только в пятьдесят шесть лет почувствовал Лев Николаевич некоторое нездоровье. Нельзя сказать, чтобы нездоровье это как-то его особенно расстроило, тем более что он поначалу связал его с одной из своих хронических болезней, периодически напоминавших ему о себе еще с юности. Болезнь эта обычно обострялась весной и осенью, а теперь ведь тоже была весна. Он начал принимать известные ему таблетки, те самые таблетки, которые обычно пил во время обострения — одну утром, до еды, один раз в день, дабы благоприятно воздействовать на слизистую желудка, вторую, наоборот, поздно вечером, запивая большим количеством воды. Маленькие кругленькие, совсем уж безобидные таблеточки, пил во время еды, чтобы облегчить пищеварение. Наконец, принимал перед сном одну ложку сладкой суспензии, сделанной на основе медвежьей желчи. Сначала почувствовал Лев Николаевич, что стало ему вроде получше, а потом вдруг отчетливо ощутил, что все-таки лучше ему никак не становится. Тогда он почему-то решил, что так и должно быть с возрастом, что с возрастом обязательно эта болезнь дол-

жна прогрессировать, а ему предстоит только терпеть. И действительно, не удивлялся он и почти ежедневной утренней рвоте, и постоянной тошноте. Лишь когда брюки стали падать с него, и ему пришлось делать в ремне новые дырочки, понял Мурзин, что без помощи врача уже не обойтись.

Врач-узист, институтский однокашник, оглоушил Льва Николаевича жутким предположением. Нет-нет, диагноз, конечно, еще не был поставлен — его опровергнуть (или подтвердить!) должна была компьютерная томография. Но зловещее слово было произнесено и, как большинство слов, не растаяло в дрожащем воздухе казенного кабинета, а встало возле окна всей своей необозримой громадой, заслонив собою Свет Божий. Однокашник Мурзина был хорошим, добрым, еще советским человеком. Он сумел договориться со своим коллегой по поводу необходимого компьютерного исследования на следующий день. Так что уже завтра предстояло нашему герою узнать свой диагноз.

Лев Николаевич на ватных ногах спустился по мраморной лестнице медицинского центра, содрал дрожащими руками с ботинок голубые бахилы и направился куда глаза глядят. Впрочем, глаза его как раз в этот момент ничего и не видели, хотя он исправно переходил дорогу как на зеленый свет, так и в узаконенных местах.

Лев Николаевич слегка пришел в себя, когда уже сидел на узенькой деревянной лавочке и смотрел на противоположный берег Оки. Перед ним предстала картина более чем знакомая — однообразные коробки современных домов, убогие фабричные трубы, аляповатая крыша городского цирка, напоминающая дамскую шляпу. Неужели он видит все это в последний... или даже в предпоследний раз? Нет, такого не может быть! В конце концов, Вадик (а именно так звали узиста) всего лишь предположил, он даже не поставил диагноз. Но, с другой стороны, слово было произнесено, и отделаться от этого жуткого слова было невозможно. Рядом находился один из известных в городе ресторанов, где Лев Николаевич проводил время в молодости. Сейчас было еще очень рано, и никакого оживления возле ресторана не было. Маленькая и щуплая девушка в красной ветровке с надписью «Спорт» медленно шла от ресторана в сторону скамейки, на которой сидел Мурзин. На плече ее висела небольшая сумочка, в руке подрагивала сигаретка. Вроде бы, девушка как девушка. Но проститутку видно сразу. — Вы кого-то ждете? — спросила она у Льва Николаевича. — А что вы можете предложить? — Минет — четыреста, комплекс — пятьсот. — Совсем я цен не знаю, — добродушно промямлил Мурзин. — Грустно как-то и противно на душе. Да и комплексов у меня своих хватает. — А мне тоже почти всегда грустно, — ответила девушка. — И противно почти всегда. Посидеть-то хоть рядом с вами можно? — Конечно, можно. Присаживайся. Что, клиентов нет совсем? — Сегодня был один, в машине. Псих полный. — Тебя как зовут? — Белка... Вообще-то мое имя — Даша. Но в нашем районе Белкой прозвали. Почему — не знаю. Неужто я на белку похожа? — Есть что-то от белки, — как-то механически проговорил Лев Николаевич. — Не знаю только, что. — А вот вы чем-то на зайца похожи, — продолжала она. — Скорей, на кролика. Меня одно время студенты так и называли — Кролик.

— Студенты... А какие сейчас студенты — умные? Или так — прогульщики всякие? — Разные есть. Но меня сейчас другое волнует — здоровье. — А что за него волноваться? Кто не курит и не пьет, тот...

— Здоровеньким помрет, — продолжил Лев Николаевич. — Вот имен-

но, — согласилась Белка. — Это почти что про меня. Я ведь почти не курю, вы не смотрите, что сигарета в руке. Да и пить давно бросила. Скажу больше — я почти не ем ничего. — Это уж почему? — Да рвет меня от еды. Не могу смотреть на нее. Болезнь какая-то. Да и кашель донимает. — Лечиться надо.

— У кого?! Я закончила медучилище, в больнице три года ишачила. Кто там работает, если б вы знали... — А ты никогда не хотела иначе жить? — спросил Лев Николаевич и тут же смутился — до того неискренним показался ему этот вопрос. — Каждый живет так, как получается. Я вот злая. Не люблю людей. Хотя вас увидела и подумала — человек вроде. А ведь есть звери. Недавно один такой отморозок из ресторана вышел. Морда красная, на груди тельняшка, на шее — цепочка крупная, золотая, на ней такой же крест огромный, как у священника. Дескать, верующий он, а еще десантник бывший. Подошел ко мне, взял за грудь и давай ее крутить. А мне так больно стало, что взяла я да этой самой сумкой ему по морде и долбанула. — Ну, а дальше что? — Да ничего хорошего. Сотрясение мозга, перелом двух ребер. Месяц в больнице. Вы думаете, мы за деньги с каждым будем? — Никогда не думал об этом. — Во-первых, у нас возрастной ценз. С малолетками дела не имеем. А я вообще только очень зрелых клиентов признаю. После сорока желательно. Что мне в моей работе нравится — деньги сразу. Вот я в больнице долго вкалывала, а зарплату по полгода не платили. — Белка, — внезапно перебил ее Лев Николаевич, — а ты умереть боишься?

— Не знаю. Никогда не думала. Жизнь и смерть... Это как день и ночь. День обязательно пройдет, наступит вечер, а потом и ночь. Естественно все. — Но ведь многие живут долго, а другие... — Так ведь и дни разные бывают. Летом — длинные, зимой — короткие. Вот вы, например, много прожили. Чего вам бояться?

— Я... я много прожил? — эти слова девушки обескуражили Мурзина. — А вам не кажется? Вам сколько лет? — Пятьдесят шесть, — удивленно протянул Лев Николаевич. — Так ведь это целая жизнь! Это уже так много! Я вот и до сорока не дотяну. У меня волчанка, саркоидоз Бека, псориаз и гепатит С. И все же я живу. Живу и другим жить не мешаю. ВИЧа только нет пока еще. Каждый месяц проверяюсь у подружки в клинике.

Он почти не слышал, что говорила ему Белка. Ну, что ему до ее болезней! Волчанка, псориаз! Ведь у нее ерунда какая-то, в то время как у него самого...

— А вот у меня подозревают... — начал было он. — ...? — почти совсем не удивилась Белка. — У моих родителей обоих. У отца — кишечника, у мамочки — молочной железы. Папка давно уже на кладбище, а мамуля жива и помирать не собирается. Одну грудь ей оттяпали лет десять назад — ну и что с того? Она никогда фотомodelью не была. Уборщица.

Лев Николаевич был удивлен тому, как она просто говорит об этом. Вот он даже и произнести это слово не может. — Я, когда в больнице вкалывала, с одним врачом тыкалась. Так он объяснил популярно — если у обоих твоих родителей было такое, то тебе этого никак не избежать. Наука. — Лев Николаевич весь передернулся. — Так и сказал? — Именно так. — Мурзин принялся вспоминать, как умирали его родители. Нет, ничего подобного у них не было. Но это тоже ни о чем еще не свидетельствует! — Нельзя так говорить, Белка, — медленно произнес Мурзин. —

Нельзя так говорить ни про кого. А про себя тем более. Слово может материализоваться. Ты что, действительно не боишься умереть? — Ну, загнули... Боюсь — не боюсь. Боюсь, наверное. Кошка тоже боится. Визжит и мяукает, когда ей на лапу наступают. Все живое к жизни стремится. Но почему вы считаете, что жить лучше, чем не жить? Чувствовать лучше, чем не чувствовать? Мне вот, может быть, лучше всего, когда я сплю. Сплю и вижу сны. Когда мне не холодно, не голодно, когда не надо эти бабки зарабатывать. А так... не люблю я эту жизнь и жить совсем не хочу.

— Я тоже не люблю жизнь. Но жить хочу... — Вы мне моего доктора напоминаете. Он тоже все время стонал — все хреново, кругом бардак, главный врач — вор и подонок, заводчелением — сволочь, баба базарная, хамка и взяточница, а как только все уйдут — давай, Дашка, скорей в процедурную, пока нет никого... На халяву. Денег не платил. Считал, что словами расплачивается. О чем только не вел со мной беседы! Про политику, про медицину... Начитанный такой человек, невролог. Не любил никого, но как уж жить хотел!

— Ну, так это же нормально. — Что нормально? Кто вообще знает, что нормально, а что — нет? Вы, что ли? Вся интеллигенция такая. Хлебом не корми — лишь бы потрепаться о себе. А только вас прижмут к стенке... да что прижмут — заноза из этой скамейки в палец попадет, то вы сразу начнете такое! — Ничего я не начну. Мне вот сказали сегодня... — Да что вам сказали? Откуда вы знаете? Доктор этот, Сергей Ильич, однажды заболел насморком. Ну, насморк и насморк. Он сначала не переживал, конечно. На работу ходил, в платочки кружевные сморкался. А потом смотрю — нет его. Говорят, на больничном. Рассказал, что лег в больницу к своему знакомому, проверился на все инфекции — и ВИЧ, и сифилис, и гепатиты, и редкие вирусы всякие. А он просто кашлял слегка и слабость в ногах ощущал. После насморка, наверное. А когда на работу пришел, то сказал мне, что уже успел попрощаться с жизнью. Я говорю — пойдем в процедурную, минет сделаю. А он — да ты что, какой теперь мне секс! Даже думать теперь не могу о нем. Да и не получится у меня ничего после таких переживаний... Так что любите вы, интеллигенты, накручивать. — Вот как ты нас не любишь. — Не то, чтобы не люблю. Квелье вы какие-то. Я тоже квелая, но я такой стала. В детстве веселой была... Вот, кстати, мой папик идет. Клиент постоянный. Пойду я. Не волнуйтесь. Все образуется. Все еще впереди! — Белка встала и направилась к ресторану. Там стоял, опираясь на поручни, пожилой человек в кожаной кепке. Белка подошла к нему, они стали говорить, а потом разошлись в разные стороны. Что-то у них не заладилось.

Все еще впереди. Кто знает! Красные, налитые соком рябиновые гроздья чуть колыхались на ветру на фоне пасмурного неба. Лев Николаевич встал со скамейки и направился вниз по узкой тропинке. Странно, но кое-где еще цвели ромашки. Ромашки... в октябре. Это аномалия какая-то. Впрочем, никто не знает, совсем никто не знает, как должно быть. Вадик мог ошибиться. Уже завтра все встанет на свои места...

Свинцовые волны набегали одна на другую. Мурзин смотрел на них с удивлением. Он понять не мог, как оказался здесь, у самой Оки, как сумел спуститься по крутому берегу и ничего не заметить, кроме ромашек. До чего дошло! Какая-то грязная проститутка учит его жизни! Белка-стрелка. Откуда это? Нет, все не так. Стрелка — это то, что впереди. Это место, где Ока впадает в Волгу. А проститутка — это Белка. А еще две такие собачки были — Белка и Стрелка. Они в космос летали... Конечно,

там тяжело было, в космосе, в полной невесомости. Они привыкли к легким тропинкам, к траве, к ромашкам этим, а у них — датчики на мордах, провода, измеряют им давление, кардиограмму снимают, энцефалограмму. Невесомость, тошнота. Привычную кость не погрызешь.

Но потом они вернулись из полета и стали жить так, как жили раньше. Вот и он придет завтра в этот центр, ему сделают компьютерную томографию, и он забудет сегодняшний день как страшный сон. А эта встреча... Может быть, это и был какой-то знак из того мира, который пока не хочет его пускать к себе. Или хочет? Он не заметил, как по Оке проехал огромный катер, подняв сильные волны. Неожиданная волна накатилась на ноги Льва Николаевича. Как кузнечик, он прыгнул назад, отскочил на два метра, но все-таки не успел спасти левую ногу. Ботинок и теплый носок полностью промокли. Лев Николаевич грязно выругался и побежал по крутой тропинке наверх. Потом остановился, снял ботинок и стал напряженно выжимать мокрый носок.

Нет, это бессмысленно. Носок все равно останется мокрым. Теперь только еще заболеть недоставало. Когда добежал до скамейки, где минут сорок назад еще сидел с Белкой, такая трезвая и неожиданная мысль пронзила все его существо: «Ну, что ты боишься простудиться! Это же смешно! Жить-то тебе, может, осталось — кот заплакал...» Эта мысль казалась такой ужасной, такой бесповоротной, что нужно было спрятаться от нее, засунуть ее в глубины своего подсознания. Сейчас надо скорей такси вызвать, чтобы быстрее домой добраться, не заболеть. Ничего страшного! Правильно сказала эта Белка — все еще впереди!

## СЫН ПОЛКА

### 1

Слава Тихонов меньше всего на свете напоминал известного советского киноактера Вячеслава Тихонова — совершенно не было у него олимпийского спокойствия и самообладания советского разведчика. А главное, меньше всего хотел бы он, как штандартенфюрер СС Штирлиц, жить в тылу врага и воспринимать окружающих людей как врагов или хотя бы как потенциальных врагов.

Славик всегда верил людям. Сколько бы они не обманывали его, он все равно продолжал им верить. Недоверие всегда казалось ему чем-то оскорбительным, в равной степени оскорбительным как для самого не верящего и не доверяющего, так и для объекта его недоверия. Жизненный опыт он накапливал плохо, с большим трудом. Как перевернутая шестигранная хрустальная солонка с мятой, начинающей ржаветь по бокам серебристой крышечкой, испещренной мелкими дырочками в центре, он высыпал накопленный опыт назад — на грязную, годами нестиранную скатерть.

Наверное, хорошо все-таки, что человек не задерживает в себе все плохое, не собирает обиды, не копит их, как пылесос копит пыль и мелкий мусор, а постепенно теряет их, избавляется от них навсегда. Хорошо все-таки, что обиды уходят, как вода в песок, чтобы испариться, смешаться с незлобивым, разреженным воздухом пустыни. Перебирать в течение всей оставшейся жизни, как затейливые морские камешки, незаслуженные обиды и оскорбления — незавидное, тяжелое, мучительное занятие, питательная среда для всевозможных комплексов и депрессий. С другой

стороны, не накапливать отрицательного опыта совершенно, отбрасывать его от себя, отталкивать, как отталкиваются одноименные полюса магнитиков в детской игре «Рыбалка» — тоже, наверное, неправильно, совсем даже неверно.

Слава Тихонов считал подсознательно, что если уж так случилось, что он родился, если уж так произошло, что он попал в этот мир, значит, мир обязательно должен дружелюбно раскрыть перед ним все свои двери — и пахнувшие зерном крестьянские амбары, и роскошные ворота царских дворцов, и замотанные алюминиевой проволокой гнилые калитки убогих садовых участков.

Славик никогда не чувствовал себя чужим на празднике жизни. Он любил жизнь и был уверен в том, что она должна ответить ему взаимностью. Его всегда влекло особенное, необычное. И такой особенной, необычной показалась ему черноглазая девочка Сухайла, пришедшая учиться к ним в четвертый класс. Новенькая приехала откуда-то с Северного Кавказа, и Славика совершенно не интересовало, какой она была национальности.

Сухайла говорила по-русски почти без акцента, ходила с прямой, почти несгибающейся спиной. Одноклассники Славика, особенно кокетливые девочки, сразу невзлюбили новенькую — была она какая-то гордая и чуть-чуть диковатая. А еще у нее спина была какая-то странная — совсем-совсем негнулась.

Так получилось, что и жить Сухайла стала совсем рядом со Славиком — в соседнем дворе. Она часто сидела на скамейке и читала какую-нибудь книжку. Однажды Сухайла сказала Тихонову, что очень любит читать русские книжки, но вот писать сочинения по литературе совсем не может, не хватает ей словарного запаса. Говорила она тогда, какой хороший и умный мальчик Слава Тихонов и как она счастлива, что в одном классе с ней учатся такие начитанные, серьезные, правильные и хорошие мальчики. Совсем не понимал тогда Славик, к чему клонит Сухайла. А дело было простое. Велела им учительница литературы Виктория Владимировна написать в течение недели сочинение, и три темы дала на выбор. Вот и попросила Сухайла Славика написать сочинение за нее. Славик согласился и через два дня принес девочке написанное. Сочинение было про Ваню Солнцева — героя яркой катаевской повести. Называлось оно просто до умопомрачения: «Чем мне нравится Ваня Солнцев». Сочинение оказалось удачным. Славик вообще дружил со словом, и склад ума у него был гуманитарный. Сухайла получила оценку «пять/четыре» (четверка была за грамотность, поскольку умудрился Славик не выделить в одном месте вводное слово запятыми) и была несказанно рада тому, что ей самой не придется ничего сочинять по-русски. Но дело приняло неожиданный оборот. Так уж устроена наша жизнь, что очень часто дела наши самый неожиданный поворот имеют. И, как писал великий поэт, «нам не дано предугадать, как слово наше отзовется». Виктория Владимировна отправила сочинение на областной конкурс, и писанина Славика неожиданно заняла одно из первых мест. Однако старая, морщинистая Александра Александровна, завуч по внеклассной работе и тоже учительница литературы, выставившая на конкурс своих учеников, засомневалась в авторстве кавказской барышни. Умная и проницательная старушка, почти полвека проработавшая с детьми и имевшая свою агентуру среди учеников и их родителей, очень быстро вышла на след Вячеслава Тихонова. Расколослся наш герой моментально. Здесь сработал эффект

неожиданности. Александра Александровна подошла к Славику, когда он стоял на перемене у покрашенного голубоватой краской подоконника и, механически ковыряя краску сломанным ногтем, задумчиво глядел на сизых голубей, царапающих коготками порыжевший от ржавчины карниз. Ласково и вкрадчиво, как этакая Фея Сирени из старой французской сказки, улыбнулась ему Александра Александровна, так улыбнулась, что даже тонкие, но глубокие морщинки на ее личике, напоминавшем перезревшее замороженное яблоко, слегка разгладились, и спросила:

— Скажи, ведь это ты написал сочинение про Ваню Солнцева? Я ведь сразу поняла, что писал ты. Зачем ты отдал его Сухайле? — Она попросила. Сама она не умеет писать по-русски. — Так ты бы написал ей обычное сочинение! — упрекнула его завучиха. — А разве я написал необычное? — не понял Славик. — Учительница улыбнулась. Ей чем-то нравился этот простой, доверчивый, талантливый мальчик. — Вот именно. Ты слишком хорошо написал. Теперь ей дадут премию, которую она не заслужила. А те дети, которые писали сами, не получают ничего.

— А что за премия? — спросил Славик. — Да не важно, что за премия. Медаль дадут, диплом, может быть, книжку какую с надписью. Не в этом дело. Дело в том, что все будут считать, что она хорошие сочинения пишет. А ведь это неправда. Это обман. Ты должен пойти со мной в облоно и объяснить, как дело было. — И тогда эту премию дадут мне? — Нет, тебе не дадут. Ты уже совершил бесчестный поступок. Отдал свое сочинение другому. — Но я ничего не знал про премию. Она мне не говорила. И вообще... Вам-то что, жалко, что она премию получит? Или вы хотите эту книжку или медаль дать своему ученику? — Морщинистая морда Александры Александровны скривилась так, как будто она разжевала горькую таблетку. Парень оказался не таким уж и покладистым, а главное, заподозрил ее личную выгоду, что она тщательно скрывала.

— Не важно, чье сочинение победит в этом конкурсе, — произнесла она дрожащим голосом.

— Но победить должен тот, кто писал сам. Правда победить должна, понимаешь?

Славик обещал Александре Александровне, что сходит с ней в облоно, хотя уже после того, как прозвенел звонок и началась постылая и занудная математика, решил — никуда он не пойдет. Ему не хотелось подставлять девушку. Ведь тогда его добрый поступок уже не становился добрым. Ведь одно дело просто отказать ей, не написать сочинение, а другое — написать, а потом признаться в подлоге. Его эта история тоже не слишком красила. Но жизнь слишком непредсказуема, слишком динамична, чтобы часами рассуждать о ней, жевать метафизические жвачки. Она, как узкая кавказская змея, в любой момент может обернуться, и вместо хвоста окажется у тебя в руках раздвоенное ядовитое жало. Через несколько дней встретили его в дверях два невысоких кавказца. — Вот что, — сказал один из них, прижав Славика к железной двери лифта. — Это сочинение Сухайля писал, понял? А не понял — в багажник засунем тебя и в лэс увезом. — Славик не столько испугался, сколько расстроился. Привычная картина мира гасла у него на глазах, как гаснет свет в зале провинциального театра перед очередным действием. Но во всем плохом есть что-то хорошее. Он рассказал Александре Александровне о встрече с бородатыми кавказскими дяденьками и о том, что теперь боится оказаться в багажнике. К счастью, завучиха оказалась трусихой — не стала раскручивать эту историю, обращаться в милицию, а только непо-

нятно как-то и удивленно качула старческой морщинистой головкой в сторону, и пучок волос на ее затылке, напоминающий осиное гнездо, слегка задрожал, как будто волосам стало холодно. Когда Сухайле вручали первую премию, Александра Александровна сидела в президиуме и криво улыбалась. Умная женщина рассудила, что вся эта история не стоит тех неприятностей, которые ей могут причинить родичи Сухайлы.

А со Славиком она с тех пор вообще не говорила. Сухайла, как ни странно, оказалась честнее, чем думал Тихонов. Славик даже удивился, почему она так крепко связана с этими маленькими, лысыми и бородастыми гномиками в черных курточках. Девушка вызвала его на разговор, призналась, что вовсе не замышляла подавать сочинение на премию, что это сделала Виктория Владимировна, даже не поставив ее в известность. Сама Сухайла только двойки боялась, и все. А премия никакая ей никогда не нужна была. Славик понял ее, но про разговор у лифта рассказывать не стал. Похоже, что Сухайла и не знала об этом разговоре — она смотрела на Славика пронзительными и честными черными глазами, но Славик с тех пор избегал с ней общаться.

И девушка что-то поняла, что-то почувствовала. Она стала только здороваться со Славиком и ничего у него больше не просила. А кто ей писал остальные сочинения, Славика не слишком интересовало.

## 2

Тихонов никогда не задумывался над тем, почему он попал служить в Ставропольский край. А попал он туда совершенно случайно. Туда уже набрали, как принято говорить, «ограниченный контингент», и по тому, как складывалась ситуация, должен был попасть наш герой в одну из частей, находящихся на территории Московской области. Но тут случились непредвиденные обстоятельства, кто-то подорвался на mine, причем в месте, на пятьсот километров удаленном от военных действий, кого-то срочно наказали, кого-то, наоборот, повысили в должности, и вот «ограниченный контингент» решили усилить. Место, где довелось служить Славiku, было невероятнo скучным и никак не относилось к местам боевых действий. Голая степь, убогие двухэтажные бараки казарм, заброшенный военный аэропорт, который надо было охранять.

Безымянная кавказская девушка, обнаруженная в стоге сена с винтовкой в руках, испугала постовых не на шутку. По-русски говорила она плохо, сообщила, что шла в гости к подруге. — Совсем не похожа на снайпера, — сказал после допроса командир роты, кривоносый Потапенко. — Полное животное. Давно бы отпустил ее, да вот винтовка. Хорошая винтовка, новенькая, снайперская, и в магазине пять патронов. Говорит, птиц стрелять хотела и на костре жарить. Смешно слушать.

Решено было отвезти девушку на следующий день в милицию — пусть там с ней разбираются. А на ночь разместили ее в караульной будке, под присмотром постового.

Вернувшись с наряда, Славик увидел Сухайлу. Сначала он подумал, что девушка боится ему открыться, а потом вдруг ощутил, что это странная и пугающая ошибка. Она неподвижно сидела на скамейке. Руки и ноги у нее были связаны бельевой веревкой. Бывает же такое сходство! Чудо заключалось в том, что эта девушка была удивительно похожа на Сухайлу, но в то же время и не была на нее похожа.

Вячеслав вспомнил историю с сочинением, и ему стало как-то не по себе.

— Руки развяжи, — сказала девушка. — Только руки. Я не убегу.

— Нельзя развязывать. Это приказ. — Развяжи, а потом опять завяжешь. Больно мне. — Помолчи лучше, Сухайла. — Меня зовут Зейнаб. — Не важно. Я говорить с тобой не буду. Не положено.

Молчание длилось полчаса. — Выключи свет, — наконец, попросила Зейнаб. — Спать хочу. — По поводу света никаких указаний не было. После суточного наряда спать хотелось невероятно. Пусть она ложится на свою лавку. А я на койке спать буду. — Тихонов подошел к девушке, проверил веревки. Нет, спать нельзя. — Хорошо, я выключу свет. Но со скамейки не вставать. — В темноте спать хотелось еще больше. Славик залез на кровать, положил рядом автомат. Было какое-то особое издевательство в том, что эту даму сторожить приказано было именно ему, а не Федоровскому. В каком это уставе караульной службы написано, что после суточного наряда он должен еще целую ночь не спать? — Слушай-ка, как тебя... Сухайла. Ты знаешь устав караульной службы?

— Не понимаю я. — Да все ты понимаешь. — Не понимаю. Я шла гулять. К подруге шла. Отец охотник у меня. — Ну да. Охотник. Со снайперской винтовкой. Ты эту туфту брось, Сухайла.

— Я не Сухайла. Я Зейнаб. А ты Ваня?

— Да, Ваня. Ваня Солнцев. Сын полка, как ты понимаешь. Тот самый сын полка, катаевский. Вот мы и встретились. — Привет, Ваня. Почему не спишь? Ночь уже. — Нельзя мне спать. Свет выключить еще могу, а вот спать нельзя. Жду своего сменщика. Ведь я на посту. Ты знаешь, что такое пост? — Не знаю я. — Постом называется все порученное для охраны и обороны часовому, — быстро, как робот, затараторил Тихонов, — а также место или участок местности, на котором он исполняет свои обязанности. — Сухайла молчала. Тихонов встал с кровати, прошел несколько шагов до двери караульной будки, открыл ее и вышел на воздух. Все небо было усыпано крупными, как поваренная соль, звездами. Звезды не просто сияли, звезды надвигались на него неумолимой громадой. Славик различил среди них самые яркие, образующие перевернутый ковш Большой Медведицы, а рядом с этим ковшом, чуть левее, загадочное созвездие Свастики. Степной воздух ударил в голову, он глубоко вдохнул и ощутил, как проваливается в зыбкую бездну — ночь безмолвия, ночь покоя, ночь летнего южного сна звала его к себе. Славик понял, что нужно сделать. Дверь караульной будки он запер на ключ, а сам направился к стогу, находящемуся неподалеку. Надо поспать хотя бы часа два-три, а потом он опять в будку переберется. Бояться нечего — Сухайла связана. Не Сухайла, Зейнаб. Не важно. Пусть будет Сухайла. Это привычнее. Она связана и заперта, никуда не убежит. Только бы не нагрянул кто-нибудь внезапно из командиров. Тихонов разворошил стог прикладом, сел на сухую траву. Небо надвигалось на него, огромное звездное небо. Большая Медведица, Свастика, Орион, Лебедь... Звезды надвигались неукротимо и плавно, пока, наконец, не превратились в одну неясную, гулкую, постоянно мерцающую звезду.

...Тело Славика обнаружила утренняя смена во главе с заместителем начальника караула, пузатым Тимохиным. Стекло в окне караульной будки Зейнаб выбила головой. Кустарно приготовленная из трехгранного напильника заточка торчала у постового в шее. Автомата рядом не было... — Вот мудака, — произнес Тимоха, почесывая живот. — Ничему-то его жизнь не учит. И помолчав, прибавил: — Клюквин, звони ротному, пусть принимает двухсотого.

Михаил Петрович ощущал на собственной шкуре, что жизнь тяжела и непредсказуема. Но за последнее время получалось так, что философские обобщения не только не помогали, но и мешали жить. При всей глубокомысленности афоризмов, придуманных умными и незаурядными людьми, в них заключалось что-то удивительно фальшивое, и Аргунов как-то особенно глубоко ощущал эту фальшь. «Жизнь тяжела и непредсказуема», «времена не выбирают», «не верь, не бойся, не проси», «Бог терпел и нам велел» — все эти готовые, тысячу раз прокрученные в голове утверждения давно уже не были для него фундаментом внутренней жизни. И чем умнее, чем законченнее, чем лапидарнее было такое умозаключение, тем сильнее оно раздражало Аргунова именно своей фальшью, хотя, по сути своей, было верно. И в этом заключался весь парадокс.

Он понимал, что пустое умничанье — тупиковый путь развития как человечества вообще, так и конкретного человека в частности. Ведь сколько существует людей, которые не воспринимают это умничанье, не читают книг, не слушают хорошей музыки, равнодушны к изобразительному искусству, науке, философии, вообще равнодушны к высшим проявлениям человеческого духа, и, тем не менее, эти-то люди как раз часто и бывают особенно жизнерадостны и счастливы.

Все чаще и чаще он чувствовал шаткую почву под ногами и в ужасе осознал, что ему не на что опереться. Мир, казалось, летел в тартарары. Иногда Аргунов внушал себе, что все вовсе не так, совсем даже не так, что это не тот объективный, сегодняшний мир летит в Никуда, а тот, который существовал раньше и которого никогда уже не будет — тот мир, который он сам придумал для себя. Этой весной произошло событие, которое нельзя было считать значительным, однако своей внутренней символикой оно обострило те самые противоречия, которые давно уже омрачали жизнь Аргунова. На отцовской могиле упал памятник. Упал, разбив ребром одну из гранитных стенок цветника. По-видимому, его подмыло тальми водами. Памятник был поставлен в августе, и на него еще не кончилась гарантия.

— Что вы от меня хотите, — отвечал Аргунову бойкий и розовощекий кладбищенский служащий, чем-то напоминающий поросенка, когда Михаил Петрович усомнился в правильности установки памятника. — Я ведь его не ронял. А поставили его летом правильно, по инструкции, как и полагается — на трубах. Я же не виноват, что здесь почва под ногами ходит. — Как это ходит? — не понял Михаил Петрович. — А так — ходит! Почва шаткая. — Ушлый ритуальщик и представить себе не мог, какое глубокое впечатление произведут его слова на этого лохастого очкастого мужичка, одетого в потрепанный джинсовый костюм с дырками на локтях и коленях. «Шаткая почва». Это словосочетание не давало Михаилу Петровичу покоя, преследовало его, обретая все новые и новые переносные значения. Однажды, проснувшись утром, он вдруг понял, что кладбищенский клерк не сказал ничего нового. Аргунов всю жизнь прошагал по шаткой почве, всю жизнь чувствовал колебание непокорной земли под нестойкими ногами, а теперь это колебание выросло до фантастических размеров, и бедному писателю стало совсем не по себе. Пожалуй, не было ни одной сферы в жизни, в которой бы Михаил Петрович не

разочаровался, и это не могло его особенно радовать. Но, с другой стороны, не было и ни одного дела, которому бы он мог отдаться полностью, без оглядки. Михаил Петрович был одаренным, даже талантливым прозаиком, но сам он никогда себя писателем не называл, поскольку понимал, что в народном сознании писателями могут быть только Пушкин и Лев Толстой. Однако такое реальное отношение к своему писательству сыграло с Аргуновым злую шутку. Поскольку сам он не произнес волшебные слова, эти пресловутые «крекс-пекс-фекс», гипноз массового читателя так и не состоялся.

Однако чем старше становился Михаил Петрович, чем лучше он писал, тем больше публикаций у него появлялось, чем больше премий ему удалось получить, тем ощутимее становилось поле отчуждения между ним и его коллегами. Он уже давно дорос до той стадии развития, когда собственное имя, набранное типографским шрифтом, не вызывает бурных эмоций. Творчество для него стало чем-то очень личным и в то же время единственным каналом, при помощи которого невоцерковленный Аргунов общался с Богом.

## 2

Виктор Ксенофонович с детства любил все красивое, и животная грубость окружающей жизни сильно ранила его тонкую душу. Эта грубость была отвратительна ему с детских лет, и спасался он от нее только чтением и одинокими прогулками по окскому берегу. Жизнь в районном городке он тяготился. Друзей настоящих у него никогда не было. После окончания строительного техникума женился на девушке из областного центра, затем, разочаровавшись в работе строителя, поступил в культпросветучилище, а потом и в Казанский институт культуры, где учился заочно. Но все это была только внешняя канва его жизни. Внутренняя жизнь Вити Семенычева была известна только ему, и он тщательно скрывал ее от жены и сослуживцев.

Жену он не любил, да и она давно уже не испытывала к Вите теплых чувств. Они жили, как живут соседи — почти не ругаясь, но и не влезая в жизнь друг друга. Валентина Ивановна относилась к Виктору как к большому ребенку — незлобивому, странному, но в то же время чужому. Если бы у них были дети, тогда, конечно, Валя не считала бы свою жизнь неудачной, да и к недостаткам мужа относилась бы куда спокойнее, терпимее.

А какие недостатки были у Виктора? Если бы этот вопрос задали его коллегам по библиотеке, то многие из них только пожали бы плечами. Похоже, что недостатков у Семенычева совсем не было. Тихий, незлобивый с виду человек, редактор невзрачных сборников научных трудов библиотеки, руководитель редакционно-издательского отдела, именуемого коллегами не иначе как «РИО». Знали, что он пишет унылые, не всегда хорошо зарифмованные стихи, изредка публикующиеся в местной периодике, что живет в крошечной однокомнатной квартирке со злобной, сварливой женщиной.

Семенычев никогда никому не сделал ничего плохого, да он и не способен был на плохой и подлый поступок, но, тем не менее, его не любили. За что не любили? Наверное, за отстраненность, необщительность. За то, что уходил с работы ровно в семнадцать часов, ни разу не задержавшись, что на производственных собраниях чаще отмалчивался, криво и виновато улыбаясь.

Правда, с работой он справлялся. Но и работа у Виктора была несложная, и до пяти вечера совсем не обязательно было в библиотеке сидеть, можно было и раньше сделать свое дело и идти домой со спокойной совестью. Надзирателей у него не было. Но Семенычев не мог уйти с работы раньше. Он не мог нарушить дисциплину. Единственный мужчина в большом коллективе библиотеки (за исключением охранников и сантехника), Витя совершенно не интересовал женщин — ни как человек, ни как мужчина. Некоторые считали его странным, чуть ли не шизофреником. И, тем не менее, Семенычев-то как раз был человеком нормальным, даже более чем нормальным. Он был посредственным. И эта его посредственность, серость, ограниченность выявлялась во всем — и в манере говорить, и в болтающихся на ниточках пуговицах старомодного пиджака, и в треснутых очках, заматанных синей изолентой, и в тех брошюрках на кривых тонких скрепках, которые он вместе с прыщавой девушкой Лизой, страдающей детским церебральным параличом, печатал на ротапинтере. Чем посредственней казался Семенычев окружающим, чем бледнее и карикатурнее казалась его убогая жизнь, тем напряженной, тем истинней и безыскусней была у него жизнь внутренняя. Имелась у него еще одна беда, которую он вовсе не считал бедою. Тонкое восприятие мира, данное ему от рождения, Витя неправильно связал со способностями писать об этом мире. Литературного дара у него явно не было, но осознать это Виктор Ксенофонтович не мог. Казалось ему, что если он так глубоко чувствует природу и стихи других людей, то писать он явно может, и не хуже, чем другие.

Валентина Ивановна читала его стихи, и они ей не нравились. Не нравились вовсе не потому, что она понимала, что они плохие. Стихи не могли нравиться Валентине Ивановне по определению, поскольку она вообще не понимала, зачем люди пишут в рифму, когда все может быть понятно и без нее. Она читала разве что женские романы и кулинарные книги.

Как мы писали, Валя давно уже не любила мужа, но все же не была к его судьбе полностью равнодушна, поскольку их связывали долгие годы совместной жизни. «Ну что ты всегда один да один! — сказала она ему как-то. — Ты же стихи пишешь! А в нашем городе есть писатели. Я вот слышала, кто-то на улице кричал в микрофон: «Союз писателей, союз писателей!» Выступали какие-то длинноволосые очкастые мужички. Один даже на гитаре играл и пел. Я постояла, послушала. Пойди к ним, пусть они тебя в свой союз запишут. Будете друг дружке стихи читать. Все же лучше, чем по берегу одному шататься. Там шпана одна собирается, а тут люди культурные, с образованием, при книгах к тому же».

И Виктор Ксенофонтович внял ее словам, зашел в местное отделение Союза писателей, поскольку и находилось оно неподалеку от окского берега, по которому он часто одиноко прогуливался. В небольшой комнатке, с пола до потолка увешанной грамотами в красивых разноцветных рамках, сидел, глядя на тусклый экран монитора, седовласый человек, одетый в клетчатую домашнюю рубашку и потертые джинсы.

Николай Степанович был явно не в духе. А надо сказать, что этот самый Николай Степанович, председатель правления писательской организации, и пришедший к нему Виктор Ксенофонтович, не только родились под одним знаком зодиака. Они были похожи во всем и различались только мерой посредственности. Если Николай Степанович представлял собой посредственность среднего уровня, то Витя был уже ниже всякого уровня, но при этом он тоже был посредственностью. «Нельзя быть слег-

ка посредственным, как нельзя быть немного беременной», — возразит, наверное, читатель и будет прав. Но мы живем в мире парадоксов, и с этим утверждением никакой здравомыслящий читатель спорить не будет, поскольку это факт эмпирический. И один из парадоксов, действительно, заключается в том, что нельзя быть «немного посредственным» и в то же время уровни посредственности все же можно обозначить, во всяком случае, вчерне.

Николай Степанович увидел робкого человека в старомодном мятлом пиджаке, и ему сразу этот человек понравился. Во-первых, тем, что было в нем что-то узнаваемое, застенчивость была какая-то, скромность. Он не открывал дверь ногой и, по-видимому, имел уважение к Николаю Степановичу. А последнее время Николай Степанович сильно переживал из-за того, что его перестали уважать. Сказать по правде, его и раньше-то никто особенно не уважал. Но в молодости Николай Степанович еще не хотел, чтобы его сильно уважали и всегда оказывали ему знаки уважения. Молодых людей и не надо уважать, они сами должны уважать старших. И вот наступило такое время, когда Николай Степанович явно перешел в разряд старших, но, тем не менее, уважение к нему почему-то не родилось, не возникло само по себе, просто так, «по умолчанию», как говорят программисты.

Он явно не принадлежал к тому типу людей, которые привыкли винить во всем себя и только себя. Николай Степанович был убежден, что во всех его неудачах виноваты другие люди — амбициозные политики, развалившие великую державу, а вкупе с ней и возможность зарабатывать деньги литературным трудом, всевозможные завистники и интриганы, областные власти, не желающие оплачивать издание его бессмертных произведений. Посмотреть же со стороны на свои произведения он не мог. Считающий себя прозаиком Николай Степанович не писал ни романов, ни повестей, ни рассказов. Он производил на свет однообразные скучные «очерки», в которых неизменно склонял слово «духовность». Витя Семенович тоже не мог посмотреть со стороны на свои стихи, но, в отличие от Николая Степановича, он вовсе не хотел их публиковать, не было у него такого желания. И писателем он быть вовсе не хотел. Просто ему надоело одному ходить по бетонной набережной и захотелось прочесть свои стихи этому благообразному, обстоятельному, седому мужчине, к тому же писателю.

Так получилось, что в этот день Витя прочитал Николаю Степановичу не только свои стихи, но и рассказал, что, кроме стихов, его ничего не интересует. Работу свою он не любит, жена давно раздражает его своей тупостью, а детей у него нет. Николай Степанович предложил ему выпить водки. Витя почти не пил в реальной жизни, но здесь, в этой комнатке, обвешанной грамотами, все было совсем по-другому. Здесь было тепло и уютно, как дома. Более того — здесь было даже лучше, чем дома. Водка быстро ударила в голову, и Витя почувствовал, как его тоска ушла куда-то. С тех пор он стал заходить в писательскую организацию, и редко там видел кого-нибудь, кроме Николая Степановича. Они каждый раз выпивали, и каждый раз Витя ощущал под грудиной какой-то теплый, нежный комок, который говорил ему: «Не все так плохо, браток, не все так плохо». Николай Степанович почти всегда вещал о себе, о своих многочисленных врагах, мешающих ему создавать и культивировать духовность, но Витя не слушал его. Ему нравилось только читать стихи и ощущать комок под грудиной.

«Зря ты туда ходишь, — заявила ему как-то Валентина Ивановна. — Алкашом тебя эти писатели заделают. Сами-то, небось, горькие пьяницы. Прости ты меня, что дала тебе дурной совет — направила в их заведение. Не знала я, что там алконавты одни». Но Витя не слушал жену. Мало ли что кудахчет эта рябая курица! Ей бы яйца нести, но она не может. Ни роду, ни плоду. Бесплодная смоковница. У него хоть стихи есть. А она только женские романы листает, лузгает семечки подсолнуха да в телевизор пялится. Однажды Николай Степанович предложил Вите издать книжку стихов. «Не беспокойся, я спонсоров найду. Есть у меня меценат один, который мне с журналом помогает, он депутат городской думы и доктор наук. Экономических. Умный мужик, понимает, что духовность поддерживать надо! Он и сам неплохие стихи пишет. Хуже, конечно, чем мы, профессионалы. Но что с него взять — депутат, профессор!» Витя сильно удивился, что у него может быть своя книга, но послушался Николая Степановича, отправил ему сотню стихотворений по электронной почте, а месяца через два держал уже в руках изящно изданную, пахнущую типографской краской тонкую книжечку. И название у книжечки было самое что ни на есть поэтическое — «Вдохновение». Книжка произвела огромное впечатление на Валентину Ивановну. Когда те же самые стихи были накорябаны шариковой ручкой в дешевой блокноте, они производили совсем не то впечатление. А тут... книга. Книга! Как у настоящего писателя. «Кто знает, может быть, Витек-то мой действительно хорошо пишет, раз ему книжку издали? — думала она. — Впрочем, какая нам польза от этого, коли за книги деньги не плотят (она именно так, через «о», произносила это слово)».

— Скажи-ка, Виктор Батькович, — изрекла она однажды, — а почему это вдруг депутат за твою книжку свои башли выложил? Понравилась ему стишки, что ли?

— Ты, Валя, совсем не понимаешь спонсоров, — ответил Виктор. — Книжку он вообще читать не будет. Но он считает, что должен поддерживать поэзию. У него убеждения такие, принципы! «Поддерживать поэзию... — подумала Валентина Ивановна. — Зачем ее поддерживать? Вот чистоту поддерживать надо. А поэзию? Какой с нее прок?»

Однако Валентина Ивановна не была такой уж ограниченной, как может показаться читателю. Если она чего-то не понимала, то часто вникала в это прежде всего себя. Решила она (и совершенно справедливо!), что если поэзию кто-то поддерживает, то так и должно быть. Значит, не должна эта самая поэзия пропадать только из-за того, что ей, Валентине Батьковне, она как телеге пятое колесо. Стало быть, стишки Витькины кому-то нужны. Через месяц после выхода книжки, очередной раз распивая водку в своем кабинете в небольшой компании членов правления, а точнее, пожилых морщинистых мужичков в советских пиджаках, обильно усыпанных перхотью, Николай Степанович предложил принять Виктора Ксенофонтовича в Союз писателей. — Книжка у него уже есть, — добавил он. — Примем его? — Принимать мы можем только на общем собрании, — возразил прозаик Метнев. — Ну, вот и примем, — ответил Николай Степанович. — Открытым голосованием. Никто против него голосовать не будет. Ты сам-то хочешь к нам?

Витя был честным человеком. Он не понимал, зачем ему нужно вступить в Союз писателей. Ведь пить водку с Николаем Степановичем можно и без этого. Но он чувствовал, какого ответа от него ждут, и ответил: — Хочу.

Аргунов не хотел идти на собрание. Он уже давно разочаровался в Союзе как в организации мертвой, формальной, ничем не желающей помочь писателю. И все же не мог полностью оторвать себя от старенького, с обваливающейся штукатуркой, двухэтажного особнячка на набережной Оки, построенного знаменитым в свое время в городе купцом-тугодумом, крестившим высокий морщинистый лоб двумя кривыми корявыми перстами. Здесь прошли юность, молодость, да и зрелые годы Аргунова. Теперь там все изменилось, даже машину поставить было негде. Повсюду красовались наглые знаки платных парковок, появились новые кафе и магазины. И ничто уже не напоминало время благообразного и степенного купца-старообрядца, отдавшего свой дом городской думе и построившего в городе несколько ночлежек и вдовьих приютов. Весь этот квартал, расположенный неподалеку от Речного вокзала, полностью преобразился. Стены домов обделали разноцветным декоративным кирпичом, а кое-где облицевали гранитом и мрамором. На набережной исчезли ужасающие ямы. Но чем ровнее, чем красивей становилось дорожное покрытие набережной Оки и прилегающих к ним кварталов, тем отчетливей ощущал Аргунов шаткую почву под ногами. Казалось ему, что скоро, совсем скоро, наступит такой момент, когда все эти современные строения, как неустойчивые картонные домики, упадут и обратятся в прах. Он не появлялся в этом здании более года. И совсем не потому, что люди в мятых пиджаках, входящие в правление и возглавлявший это самое правление седовласый и благообразный Николай Степанович были ему как-то особенно неприятны. Скорей всего, он просто чувствовал, что та самая «духовность», о которой постоянно говорил председатель, сродни сухим дохлым мухам, валяющимся между рамами. А мертвечина была ему не по душе.

На старом потрескавшемся пианино лежало несколько самодельных книжечек на скрепках, и одна из них была Витина книжка, то самое «Вдохновение», которое выпустил Николай Степанович на деньги депутата-сочинителя. Почитав стихи, Аргунов вновь почувствовал, как под его ногами ходит земля. С одной стороны, совсем не было ничего ужасного в том, что эти беспомощные тексты были набраны типографским шрифтом. Но, с другой стороны, очень понятной Аргунову, вся история изящной словесности как нашего Отечества, так и других стран ярко свидетельствовала о том, что именно такие произведения и не должны как раз этим самым типографским шрифтом набираться. Они имели полное право существовать на поздравительных открытках, в блокнотах, альбомах, учебных тетрадках, даже в загадочном и до конца не понятном Михаилу Петровичу интернете. Но никак не в книге, поскольку книга — вещь особая, святая для нас. Это ощущение было для Аргунова настолько органичным, настолько продиктованным его предыдущей жизнью, что он посчитал книжечку Вити какой-то ошибкой, нелепой шуткой, чем-то таким, чем заниматься кощунственно.

Михаил Петрович узнал, что кроме этого Вити, планируется «вступить» в союз еще восемь человек — шесть поэтов и двух очеркистов, пишущих, разумеется, о духовности. Голосовать против этих людей Аргунов не хотел — ему не нужны были враги. Но голосовать за них он не мог тем более. Что оставалось делать? «Сейчас я скажу, что буду воздерживаться, поскольку не читал этих книг», — подумал Михаил Петрович. Но

тут же поймал себя на том, что и в воздержании от голосования содержится какая-то чудовищная неправда. Он пошел в туалет по гнилым, колеблющимся доскам, и ощущение шаткой почвы вновь овладело всем его существом, и он почувствовал, как закружилась у него голова. «Зачем, зачем, Миша? Зачем ты полез на эту карусель? Ведь эта карусель для больших детишек, а ты еще маленький, маленький...» Он отчетливо услышал мамин голос, вспомнил, как остро пахла резеда в городском парке, вспомнил эти ужасные карусели, окурки на земле, коричневатую бутылку из-под лимонада «Буратино» с отколотым горлышком. Зачем-то ее бросили прямо в клумбу, прямо в резеду и анютины глазки. Зачем, зачем? Разве так можно? Да и почва-то у нас шаткая, шаткая. В туалете Михаил Петрович умылся, посмотрел в небольшое зеркальце над раковиной, медленно причесал волосы деревянной расческой с надписью «Из Сибири — с любовью!» и окончательно пришел в себя. Нет, все не так. Ничего ужасного не произошло! Он совсем не изменился! Совсем не изменился! Изменился мир, который его окружает. Вот где собака зарыта! Так что он, Миша Аргунов, совсем не виноват в той карусели, в той чудовищной свистопляске, охватившей всю нашу землю.

Он понял, что надо делать. Аргунов тихо прикрыл дверь туалета, тихонько прошел мимо актового зала, где уже началось собрание и где седовласый председатель что-то бубнил загробным голосом, как будто читал псалтырь возле покойника. Спустился по лестнице, вышел на берег Оки. На набережной стоял пухлый гаишник с мешками под глазами и смотрел с видом римского патриция на то, как эвакуатор поднимает не по закону припаркованное авто. Машина чуть раскачивалась на крючьях. Аргунов широкими шагами шел по набережной. До того места, где он оставил свой автомобиль, было не меньше километра. Ничего страшного! Ведь его машину еще не забрали! И плевать ему было на гаишников, на Союз писателей, на шаткую почву!

У него пока еще было его творчество, отобрать которое никто не в силах.

## ВСТРЕЧА С ПРИШЕЛЬЦАМИ

Это утро было самым обыкновенным августовским утром села Тундутово, но в то же время оно было утром самым что ни на есть необыкновенным, из ряда вон выходящим.

Михаил Алексеевич Сучков, недавно отметивший свое семидесятилетие, почти всю сознательную жизнь проработавший директором дома культуры в родном Тундутове, вышел в огород по нужде.

Было уже совсем светло. Михаил Алексеевич хотел вернуться домой и ложиться спать, как вдруг его внимание неожиданно привлек незнакомый объект, высотой с двухэтажный дом, чем-то напоминавший большое куриное яйцо или стог сена, покрытый блестящим целлофаном, хотя для стога сена, наверное, он был слишком велик.

Объект находился на бывшем колхозном поле, отделенном от огорода Сучкова редким полусгнившим штакетником.

Сначала Михаил Алексеевич решил, что видит сон, и потому не сразу ощутил комаришу, намертво присосавшуюся к правой голени. Когда, наконец, он почувствовал боль от укуса и раздавил ненавистное насекомое, издавшее при этом звук, чем-то напоминающий щелчок, то почти вся ладонь его была вымазана ярко-алой кровью.

Сучков подошел к чугунному рукомоюнику, криво прибитому ржавым гвоздем к почерневшей от времени трухлявой стене дома, наскоро вымыл руку, и холодная ржавая вода вкупе с сильно зачесавшейся голенью вернули его к полному бодрствованию. Нет, он не спал! Но что же это за странное сооружение появилось на поле?

Михаил Алексеевич вернулся в сени, надел валяющийся на облезлом диване дырявый ватник, наскоро сунул ноги в короткие, выдавшие виды резиновые сапоги покойной жены — небесного голубого цвета, безнадежно дырявые в местах, где подъем переходит в подошву, и медленно зашагал вдоль огорода.

Возле кустов черной смородины и крыжовника, криво обрамлявших его жалкий участок, находилась небольшая поскрипывающая калитка, закрытая при помощи ломкой алюминиевой проволоки.

Чем ближе подходил Михаил Алексеевич к этому нелепому сооружению, тем отчетливее ощущал, что это не мираж. Причудливый корпус яйцеобразного космического корабля серебром сверкал под лучами восходящего солнца, а по маленькой винтовой лестнице спускалось странное существо, чем-то напоминающее робота.

«Неужели... инопланетяне?» — Михаил Алексеевич обезумел от жуткого и одновременно необычайно сладкого предчувствия. В юности он зачитывался научной фантастикой, интересовался космосом, прочно вошедшим в моду со времени умопомрачительного и почти фантастического полета Юрия Гагарина. И вот теперь... Но почему это произошло именно здесь, в Тундутове? Может быть, потому, что кругом одна ровная, пахнущая полынью и чабрецом степь, и до областного города четыреста километров с лишним?

Существо (а это, несомненно, был инопланетянин) сошло с лестницы и стало опорояняться возле редких ивовых кустов.

«Стало быть, органы у них вроде наших», — подумал про себя Михаил Алексеевич. Раньше ему приходилось читать про каких-то железных пауков и желеобразных гуманоидов, и эти знания не прошли даром, оставили неяркий след в подсознании.

У инопланетянина явно было четыре конечности, и это сходство настроило Михаила Алексеевича на оптимистический лад. Кстати, и размерами своего тела космический гость вполне напоминал человека.

Увидев Сучкова, инопланетянин сделал некий жест рукой, отдаленно напоминающий приветствие.

«Надо же, совсем как у нас», — подумал Сучков.

Тут из яйца вышел еще один пришелец, облаченный в оранжевый скафандр. Появление этого субъекта полностью развеяло все сомнения Сучкова. Но почему тогда первый легко обходился без скафандра? Странное чувство охватило девственную душу заслуженного работника культуры (а это почетное звание он получил совсем недавно, в преддверии своего юбилея).

Может быть, это как раз и есть его звездный час? Может быть, вся его жизнь и заключалась в ожидании этого момента?

Ведь было же у него в детстве какое-то предчувствие, резкое ощущение необычной судьбы? Конечно же, было.

Иногда ему казалось, что сама природа, окружающая его, дает много вестей Оттуда, тайных знаков, язык которых он не мог до конца разгадать. Но он всегда верил в то, что его жизнь, жизнь Миши Сучкова, не могла быть жизнью примитивного сельского млекопитающего, что обя-

зательно в ней должно было произойти некое событие, которое вывело бы его из разряда деревенских обывателей.

Вот здесь-то как раз и была зарыта та трансцендентная собака, которая открывала лазейки в потемки души нашего героя. Михаил Алексеевич был двуликий Янус — с одной стороны, потомственный крестьянин и сельский житель, а с другой — интеллигент, причем интеллигент в су-губо русском понимании этого слова.

Сельский интеллигент, как и рабочий интеллигент, явление сложное, до конца никем не изученное. Сельский интеллигент почти всю жизнь парит между небом и землей, как жаворонок звонкий. От земли он отошел или почти отошел, а к мировой культуре только прикоснулся и был ошарашен ею, как шаровой молнией.

Михаил Алексеевич прочитал книг не меньше, чем какой-нибудь городской профессор, но чтение это было, как говорят в народе, не в коня корм. Литературные шедевры были им разве что проглочены, но, очевидно, не хватило в его организме ферментов для их расщепления и переваривания. Единственно, что мог наш герой, так это только восхититься шедеврами мировой литературы, музыки, живописи и скульптуры. И меры этому восхищению не было никакой, и как раз отсутствием этой меры продемонстрировал Михаил Алексеевич свою фатальную принадлежность к интеллигенции. Как говорится, в семье не без урода. Именно таким уродом и был Сучков. Именно поэтому он так и воспринял прилет инопланетян.

Если бы в эту ночь в свой огород вышла баба Настя, соседка Михаила Алексеевича, то вряд ли космический корабль сильно привлек ее внимание. Подумала бы старушка, что вновь отморозки себе новый коттедж отгрохали. А если бы и узнала, что прилетели неземные жители, то мало бы удивилась, поскольку это дело явно не ее, старушечье, а поселковой администрации.

Другое дело — наш герой. Он всю жизнь ждал чего-то необычайного, особенного. И вот его звездный час настал. Инопланетянин, одетый в скафандр, заинтересовался Сучковым, бодро слез по лестнице и пошел ему навстречу. Он подошел вплотную к нашему герою и протянул ему бумажку. Михаил Алексеевич долго вглядывался в желтые точки на черном фоне, пока вдруг не понял, что это карта звездного неба. Потом он посмотрел на пришельца, увидел внимательные глаза за стеклом скафандра и чуть тронутые сединой брови. Как все-таки интересна и удивительна жизнь! Правильно сказал кто-то из ученых, что человек — венец творенья. Вот и этот инопланетянин оказался удивительно похожим на человека — две руки, две ноги, два глаза. Сучков всегда предполагал, что космические пауки — нонсенс, выдумка биологов и технарей. И как могли люди верить в такую нелепость!

Интересно, могут ли эти пришельцы говорить? Наверное, нет. Во всяком случае, космический гость, облаченный в оранжевый скафандр, вовсе не пытался общаться с Сучковым. Рукой, обтянутой серой резиновой перчаткой, он ткнул в тот угол бумажки, на который, по-видимому, хотел обратить особое внимание сельского интеллигента, и направился к своему кораблю. Пришелец без скафандра к тому времени уже исчез внутри металлического яйца. По-видимому, долго дышать земным воздухом он не мог.

Молчаливый космический гость вскоре последовал за своим соратником. Поднявшись и войдя в овальную дверь, он нажал на какой-то рычаг, свернул винтовую лестницу и убрал ее полностью.

«Неужели сейчас улетят?» — подумал Сучков. Смириться с этим он не мог. Надо было что-то предпринимать.

Корабль, судя по всему, вовсе не готовился к взлету.

«Может быть, я чем-то расстроил или испугал этих существ?» — пронеслось в голове Михаила Алексеевича.

Надо подчеркнуть, что был наш герой, как большинство русских людей, человек законопослушный и общественный. Встречу с пришельцами он расценил не только как яркое событие своей личной жизни. Этот исторический факт, первый прилет инопланетян на Землю, о котором так долго мечтали ученые и писатели предыдущих поколений, произошел несколько часов назад, и именно ему, Михаилу Алексеевичу Сучкову, заслуженному работнику культуры Российской Федерации, суждено было первому не только встретиться с ними, но и объявить об этом своим соотечественникам, а потом и вообще всем землянам.

Надо было скорей бежать, но куда?

Выбор сразу пал на Сашу Пимочкина — бывшего редактора районной газеты. Надо бежать к Сашке, у него в редакции до сих пор все знакомые. А уж в редакции районки разберутся, кого первого в известность ставить — главу администрации Хомутова, губернатора Кульнева или... да что или! Самому президенту звонить надо, в Кремль!

В синих спортивных штанах с оборванными белыми лампасами, в женских резиновых сапогах на босу ногу, побежал Михаил Алексеевич к дому Пимочкина. Зрелище довольно забавное, но вряд ли кто мог его наблюдать в пять часов утра. К тому же и бежать пришлось всего четыре минуты.

Дверь долго не открывали. Наконец, послышалось знакомое Сашкино покашливание.

— Это я, Сучков, Сучков! К нам инопланетяне прибыли!

Сашка открыл дверь. По его недовольному виду Михаил Алексеевич понял, что бывший редактор вовсе не рад появлению пришельцев. Кажется, он вообще не понимал, что случилось. Долго тер тыльной стороной ладони красные слепшиеся глаза, таращился на Сучкова, как на мираж в пустыне — наверное, досматривал очередной сон.

Но вдруг выражение его лица резко изменилось. Пимочкин проснулся.

— Ты не слышал разве, что к нам из Волгограда съемочная группа приехала? Фантастику снимают.

— Так это... кино?

— А ты как думал? Настоящие пришельцы?

Сучкову стало необычайно стыдно за свой поступок, за то, что по глупости разбудил человека.

Михаил Алексеевич, однако, совсем уж глупым не был. Более того, в деревне никто его таковым не считал. Ну, странности водились, конечно, но он все-таки был интеллигент, а какой интеллигент без странностей?

Пимочкин, однако, вопреки ожиданиям Сучкова, не только не обиделся на столь ранний звонок, но тотчас забыл о появлении Михаила Алексеевича. Дойдя до дивана, он моментально грохнулся на него и срочно принялся досматривать сны.

Медленно ползл Сучков в сторону своего дома. Когда он бежал к Сашке, то не замечал ничего вокруг. А на обратном пути внимание его стало удивительным, а предметы, которые он видел — объемными, запоминающимися. И все эти предметы, будь то раздавленная колесом зеле-

новатая пластиковая пивная бутылка или рваный целлофановый пакет с латинской надписью «Marina» и изображением женского профиля черного цвета, зацепившийся под порывом внезапного ветра за сухую ветку американского клена, казались ему отвратительными, гадкими, жуткими, несовместимыми с нормальной человеческой жизнью. И такой же гадкой, отвратительной и жуткой предстала перед ним вся его жизнь в Тундутове.

И тотчас сплошной чередой выплыли все нанесенные ему обиды. Вот здесь, на этой пыльной кривой улице, возле ивовых кустов, вымогала у него мелочь вихрастая деревенская шпана. Чуть дальше, у старого корявого тополя, заметил он однажды любимую девушку в объятиях приезжего городского парня. Он тогда нашел в себе силы спрятаться поскорее, чтобы не ставить ее в неловкое положение, а с девушкой даже объясняться не стал — просто перестал встречаться.

А потом вспомнил иезуитское лицо своего научного руководителя, профессора Самсонова, обещавшего взять его в аспирантуру. Понимал Михаил Алексеевич, что Самсонов вовсе не врал, говоря об аспирантуре, что ему действительно пришлось по душе дипломная работа Сучкова, в которой он увидел зерно возможной кандидатской диссертации. Но в тот год в аспирантуру взяли дочку проректора, а Сучкову предложили — конечно же, временно! — должность лаборанта. Миша вежливо отказался и сказал, что лучше работать в деревне учителем, чем таскать, как шестерка, кафедральные таблички и развешивать их в аудитории перед лекцией Самсонова на глазах у смеющихся студентов.

В школе, однако, его ожидало куда большее потрясение — красномордая директорша Лидия Капитоновна. Более страшного и неадекватного существа он вообще в своей жизни не видал.

Дальше Сучков вспомнил, как умерла его мать. Ей поставили страшный диагноз, тыкали Сучкова носом в рентгеновские снимки. Мать умерла совсем не от опухоли, а от тромбоза кишечника, который никто не смог определить в районной больнице. А опухоли, как сказал прозектор, не было вообще. Просто по каким-то неясным причинам в желудке не так, как обычно, распределился раствор, содержащий барий.

Он вошел в избу с огорода. Дверь все это время оставалась не запертой. В сених увидел в старом зеркале шкафа свое нелепое лицо и растрепанные волосы, и все внутри у него всколыхнулось.

Волна жуткой, ослепляющей ненависти охватила его с ног до головы — ненависти к себе, к человечеству, ко всей этой жизни, которой вовсе и не было, но которая только казалась жизнью. На самом деле она была обманом, фишкой, цветным, переливающимся всеми возможными цветами радугой раздувшимся мыльным пузырем.

Он поднял с пола тяжелый гаечный ключ и с ожесточением ударил им по зеркалу.